

Журнал "Роман-газета"

№04, 1952

УДК 82-3
ББК 84
Ж92

Ж92 Журнал "Роман-газета": №04, 1952 / – М.: Книга по Требованию, 2021. – 66 с.

ISBN 978-5-458-61163-3

«Роман-газета» — советский и российский литературный журнал, издавался ежемесячно с 1927 года и дважды в месяц с 1957. На его страницах опубликованы лучшие произведения отечественной литературы. Печатались Шолохов и Леонов, Твардовский и Шмелёв, Распутин и Белов, Ахматова и Солоухин, Проскурин и Солженицын, Пиккуль и Чивилихин, Балашов и Алексеев, Дудинцев и Успенский, Астафьев и Лихоносов, Бондарев и Бородин и многие другие.

ISBN 978-5-458-61163-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

полу ползает, понемногу разума набирается, а родного отца не видит.

Приду вконец усталый из пшеницы, где я при панских лошадах находился, лягу в своей халупе, а сон меня не берет. Вот сейчас они, думаю, спать улеглись: тещь с тещей на кровати легли, Илько с женой на лавке примостились, а дети — на печи. Как на той печи ни просторно, а все же для Семенка места нехватает. То один его толкнет, то другой заденет. А заплачет, пожалуется, — кто на это обратит внимание? Иной раз, может, бабка заступится, а может, и сама, усталая и раздраженная всем этим кагалом, гаркнет: «Цыц!» — и все...

А оно ж малое, тогда ему только два годочка минуло. Хотя, правду надо сказать, здоровенький был, крепкий, в отца пошел. Только ходить не умел: стает на ножки, ступит полшага и свалится. Все, бывало, ползком да ползком.

— На отцовских харчах оно растолстело: потому и на ноги не становится, — скривит иногда губы жена Илька.

А мне так больно делается — на белый свет не глядел бы. Жил бы, думаю, Семенко с отцом, так и на ногах стоял бы.

Приду в воскресенье на часок к сыну, зову его к себе, а он не идет. Не знает меня! С рассвета до ночи я в имении, а в воскресенье своей работы по горло: ведь я все для себя сам делал — и варил, и стирал, и сорочку латал.

А тут еще происшествие случилось. Помещик у нас был богатющий. Австриец, Бильграф по фамилии. Высокий, плечистый и такой толстый, что подбородок у него, как индюший zob, свисал.

Добра у него всякого и денег было без счета. В саду тридцать шесть рядов крыжовника, сливка-багуля, груши сортовые на ветках, а хлопчикам, что играли возле сада, и падалицы поднять нельзя было.

Зять у него был из Галиции. Недалеко от наших мест тоже имел пятьсот фальгов земли, восемьдесят коров, много коней и овец.

Пан паном, а на мужика еще и подпанков целая свора. Только и всего, что барщину отменили, а по полю надсмотрщик едет, конек под ним быстрый и гладкий, в руках ременная плетка. Чем меньше подпанок, тем злее мужицкую шкуру стегает, душу из бедного человека выбивает.

Жил себе наш австрияк в высоком доме на холме, там, где сейчас Дворец культуры. Село красиво в долине раскинулось, с холма такой вид, что хоть на кино снимай.

Банкетов особенных, чтоб жрали и пили без меры, как паны к тому привыкли, в фольварке не было, потому что болел тот Бильграф желудочной болезнью и не мог смотреть, как гости уминают то, что ему врачи запретили. Приедут гости, он ведет их в конюшню, лошадами хвастает. А больше всего четверкой вороных, которых он только по большим праздникам в коляску закладывал.

Вот из-за этих-то коней я и попал в беду.

Стояли они в конюшне отдельно, и никто, кроме старшего конюха, к ним близко и подступиться не смел. Шу и кони ж были! Один в один.

Трое у него давненько стояли, а четвертого никто и не видел, как поставили. Говорили, будто ночью с ярмарки привели.

Приехал к нашему помещику в гости пан Гелка, что всеми лесами в округе владел. Мы на конюшне готовили коней напоказ. Утром чистили, а сейчас еще раз.

— Гляди же, — говорил мне старший конюх, — всех чисть, а этого, крайнего, без меня не тронь. Я на минутку домой сбегая. Только пану не говори, что вороных тебе поручил.

Ленивый он был, все на моем горбу выезжал. Ну, я молчу, терплю; отработаю, думаю, что задолжал, тогда видно будет.

Пока он бегал по своим делам, я коней поскреб, чтоб и пылинки на них не было, помыл их водой: блестят, лоснятся. Все у меня готово, остался последний из четверки, а конюха нету.

«Попадет ему от пана, — думаю, — если хоть какое-нибудь пятнышко на том коне, упаси боже, заметит».

И стал я возиться около него.

А оно так жилось тогда: идешь не спеша — беда догонит, идешь быстро — беду нагонишь. Только я из шланга водой — с того вороного коня черная краска как потечет!.. Подкрашенный, значит, был. Тут как раз и пан с гостем пожаловали.

Откуда ж мне было знать, что наш помещик в такую химию кинулся?

Не знаю, что уж он Гелке говорил, слышал только, как румын смеялся. Потом убежал пан в конюшню, схватил меня за плечи и затряс:

— Чтоб твоего духу здесь не было!

Ну, я и пошел. Прямо к тещю. Старик еще с поля не вернулся. Теща тесто на кныши месит. Дети — кто в хате, кто возле хаты возится. Вижу, мой Семенко за стенку ручкой держится и тоже ковыляет.

— А ну, — говорю, — иди, сынок, на середину и учись ходить по-человечески.

Тут теща как заплачет.

— Знаешь, Танасий, — говорит, — пригляделась я вчера: у него ж одна ножка короче.

Подожел я к парнишке, поставил против себя, смотрю — и правда, короче. Пока ползал, не замечали, а теперь, когда на ноги стал, видно.

Теща плачет.

— Беда мне с ним, — говорит. — То в лужу упадет, то еще куда-нибудь забьется. Стара я уже, чтоб за калекой присматривать. Да и Ильковы дети его обижают.

Подумал я, погадал.

— Хорошо, — говорю. — За все вам спасибо. Как-нибудь уж сам присмотрю.

Прощаясь с тещей, взял Семенка на руки и вышел.

МАРЦИЯ

Будто светлее стало в моей халупе. Что ни говорите, а вдвоем веселее. Пойду на грядку, и Семенко со мной. Привык к отцу, ни на шаг не отходит.

Сделал я ему сапочку еловую. Идет по моим следам и тоже сбпбається, сапочкой постукивает до седьмого пота.

Так мы с ним и закончили «прополочную кампанию». Такой «земельный массив» обработать — это вам не шутки! Тут и жито, и картошка, и фасоль — теснота такая, что палку не ткнешь.

Наниматься в ту пору я ни к кому не спешил. Как-то харчи у нас были, да и овощи должны были вот-вот поспеть. Немного картошки, кукурузы, фасольки — не пропадем до осени. А осенью и воробей — богатей. Может, что-нибудь подходящее и подвернется.

И правда: еще не все холмы пожелтели, когда встретился мне сельский нотариус Косован, дьяка нашего сына.

— Добрый день, Танахий! — приветствовал он меня первый.

— Дай боже здоровья! — говорю. А сам думаю: «Чтоб его у тебя чорт совсем забрал».

Плохой он был человек, взяточник, кровосос, другого такого не найти было. В молодости он у нашего пана лакеем служил. Хвалился, что не из одной тарелки лизал, пока еда до стола доходила. Хорошо научился и зады панам лизать и подставленную руку целовать.

Да еще людей, которые недовольны были своей нищей жизнью, поучать любил: «За масленный язык, говорит, платят, а за острые слова тебе и ломаного крейцера не дадут».

Речь у него была сладенькая, жирненькая, хоть на чирей ее, извините, намазывай, если у кого выскочит на теле. И натура хищная, а трусливая: был из тех, которые, сидя на телеге, даже зайца объезжают.

Земли вначале имел немного, но всякими хитростями выбился со временем в кулаки.

Все кричал, что широкий украинец. Даже из Галиции газетку выписывал и нам ее читал. Там писалось, что если пан своего родного языка не чурается, то он мне, мужику, чуть ли не брат родной. Послушал я и думаю: «Э, нет, пусть богатый хоть соловьем распеваает, а я его родичем не считаю».

И что бы вы думали? Женился тот Косован на румынке, да и сам на румына переписался.

Ну и пара вышла интересная из этого Косована и его «дорогой» Элен Чапей! Был он среднего роста, не то чтоб очень толстый, но в теле, одевался чисто, а когда в городок по делам ездил, то и кудри там в цирюльне закручивал, как привык в лакеях.

А она — сухая, черная, худая да такая высокая, что, ей же богу, не задрав головы, никак рожки не разглядишь. И намного старше его была, но большое приданое за ней дали. На наших детях отыгрывалась — учительницей в школе служила.

А что, скажите мне, то за школа, если в ней дети родного слова не слышали?

— Как это называется? — спросит, бывало, Чапей у швальника и тычет черешневым прутом в рисунок.

— Конечно, печь, — не моргнув, говорит хлопчик. И тут же получает линейкой так, что весь в полосах долой идет. А то и на кукурузе до вечера простоят.

— Молчать! Я тебе покажу печь! — визжит учительница. — Не печь, а соба, соба, соба, — и при каждом слове бьет бедняжку по спине.

Злая была.

Очень мне не хотелось идти внаймы к этому Косовану. Стою, молчу, а он все на свое поворачивает.

— Деньгами, — говорит, — много не обещаю, но кушать будешь хорошо. Не только мамалыгу с кислым молоком, а и капусты густой со сметанкой попробуешь, и солонинки кусок достанется. Спать, если хочешь, будешь в своей хате.

А сам ведь знает, гадюка, какая у меня «хата».

Не будь это перед живном, оц бы в мою сторону и глазом не повел, а тут как с равным договаривается. Но и я не поддаюсь.

— Хотел, — говорю, — к Худяку наниматься, но пойду уже к вам, как к соседу. Только чтоб и моего хлопца кормили.

— Да разве ж я для ребенка кусок хлеба пожалею! — быстро согласился Косован. — Бог даст, вырастет — отблагодарит меня, отработает.

«Дай бог, — думаю, — мне до того дня не дожить, чтоб еще и сын мой на тебя работал».

И пошел я с Семенком внаймы.

До жатвы оставалось еще недели две, и я пока что работал на дворе. То в овине что-нибудь поделаю, то в кладовых. С малых лет всякая работа была мне приятна. Приладить ли какую доску, постолы ли починить, жито ли косить — все мне любо и весело.

Иногда, бывало, вспомню, что не на себя работаю, а буладкое добро увеличиваю, — горько мне станет...

Как-то чинил я на хозяйской хате дымарь: кирпичи, которые выветрились, заменял новыми. Сажу на крыше и поглядываю время от времени, что там мой хлопчик делает. Он примостился на другом конце двора у забора, сидит под акациями и стручки лущит, будто обед варит. И вот вижу: шагах в двадцати от него черный бугай Косована — Жук. Поднялся мой Семенко на ножки, ни живой ни мертвый стоит.

Как очутился бугай на воле, не знаю: его без пут и на шаг не отпускали. Лютый был зверь: на человека наскочит — человека убьет, на кабана — кабану кишки выпустит.

Увидев, что бугай на моего хлопчика рогами нацелился, я стремглав бросился с крыши. Бегу через двор, а бугай уже головою замотал и заревел страшно, вот-вот Семенка на рога поднимет.

Так бы оно, наверно, и случилось. Но как раз в ту секунду, когда Жук кинулся вперед, к Семенку подскочила девушка.

Пока я добежал, мальчик уже был на руках у своей спасительницы, а она, как вьюн, вертелась между стволами акаций, на которые бугай с ревом натыкался широким лбом.

На шум прибежали люди с гумна, и нам удалось опутать и загнать Жука на свое место, за ограду.

Тогда я подошел к смелой девушке и взял у нее из рук Семенка. Я признал в ней Марийку, одну из девяти дочерей старого Сорохана. Мой покойный отец крепко дружил со стариком, а мы, малые, любили его за хорошие сказки.

— Так это ты, Марийка, такая? — спросил я ее, не зная, как благодарить за сына.

— Какая? — спросила она с задором.

— Ну вот, — совсем растерялся я, — не испугалась.

— Я ничего не боюсь, — засмеялась Марийка. И опять, будто вызывая на спор, спросила: — А ты разве испугался?

— Я не за себя, я за сына... Спасибо тебе, Марийка... потому что я не добежал бы.

А она отвечает:

— Надо бегать быстро, а не как столетний дед.

Только тут я заметил, что сорочка у нее на плече разодрана и кровь сочится. Значит, бугай все-таки успел зацепить ее.

— Давай помогу перевязать, — сказала я и спустил сына на землю.

Как свергнули ее зеленые глаза! Она отскочила от меня и, не оглядываясь, побежала к хате.

После этого случая, встречая Марийку на гумне или во дворе, я всегда приветливо здоровался с нею, но она будто не замечала меня, даже и не всегда отвечала на обычное «здравствуй».

Началось жниво. Кроме четырех батраков, постоянно работавших у Косована, на его поле вышли люди, которые были ему должны — кто деньги, кто муку. Долг отработывали больше женщины, косарей было всего двое — я и старый батрак Косована Пилип. Это был измученный и болезненный человек, поэтому за ним поставили всего одну вязальщицу, а за мною — трех: двух поденных и Марийку.

Я и теперь, бывает, во время косовицы нашим комсомольцам такие представления показываю, что девчата не знают, за кем быстрее вязать приходится — за мной или за косилкой. Ну, а тогда мне еще и тридцати не стукнуло — в самой силе был человек.

Шагаю за косой и думаю: поскорее бы деньги заработать и пану долг отдать, уже экономя напоминал. Оглянулся: две поденные далеко-далеко отстали, а Марийка не поддается. Раскраснелась, пышет от нее, как от печи, губы стиснула, только ноздри раздуваются, воздух схватывает, — жара.

— Что, — спрашиваю, — не холодно ли часом? В косовицу, говорят, за ветерок жену отдал бы.

— Кто имеет, тот может и отдать, — отвечает она — и снова за свое: еще быстрее сгибается и разгибается, чуть на пятки не наступает.

— Погоди-ка, — говорю, — вот направлю, так будешь знать, как со мной шутить.

Направил я косу и пошел — только колосья стелются.

Но чем я шире беру, тем она быстрее наклоняется; чем я быстрее шагаю, тем она злее снопы коленом в землю прижимает, будто врагов своих вяжет.

Еще солнце не село, когда мы свою полосу прошли. И сразу повалились на стерню, как те снопы.

Легли мы с Марийкой среди снопов и молчим. Пока работали, казалось, и ветра не было, а тут приятно повеяло с гор и запахло горячими снопами, которые только что стояли стеной высокого жита... Поле Косована раскинулось на холме. Оттуда видно все наше село Черногузы, что вьется вдоль дороги, а кругом — горы.

Хаты белеют, только моей нет среди них. Вспомнил я о своей халупе и о зиме подумал. Невеселая это пора для бедного человека. В такой халупе кто знает, как и печь ставить! Хорошо, пока лето, а там...

Посмотрел я на Марийку, а она лежит, закрыв глаза, не шевелится, устала, бедная, заснула.

Только сейчас, глядя на нее, спящую, я заметил, как она похожа на своего отца. Густые брови, упрямо сжатые губы, высокий лоб. И волосы такие же, только у Сорохана пыльные, тронутые сединой, а у дочери почти рыжие.

«Как это я не замечал ее раньше? — подумалось мне. — А впрочем, она еще так недавно была ребенком, ей и сейчас, наверно, не больше девятнадцати лет... А мне... — И тут же спохватился: — При чем тут я?»

Марийка спала, поджав под себя ноги, и казалась мне совсем маленькой, хотя на самом деле она была довольно высокой, почти моего роста.

Сам не знаю почему, но на душе у меня стало вдруг тихо, спокойно, будто нет на свете ни пана, ни Косована, ни щелей в моей халупе.

Прошло полчаса, а может, час. Солнце уже успело наполовину спрятаться за горы, широкая тень легла от Карпат на поле; вязальщицы, оставшие от нас, были еще далеко.

Бажется, никогда в жизни не было мне так хорошо. Я поднялся на локте, наклонился и поцеловал Марию в губы.

Она открыла глаза, но не испугалась и не отстранилась, и я понял, что она не спала. Она погладила меня по голове маленькой шершавой ружой и громко сказала:

— Ты хороший. Я давно тебя люблю. Еще когда маленькой была, любила.

Что-то застучало поблизости. Мы поднялись. На гнедой лошаденке, без седла, прямо по стерне к нам направлялся Косован. Не слезая с коня, он здобно посмотрел на нас, потом на снопы, поставленные нами, крикнул вязальщицам, чтоб поторапливались, и свернул на пыльную дорогу.

ОЙ, ДА ДВА НАС, ПАРЕНЕК...

Хорошо теперь нашим хлопцам и девчатам, когда они парами расходятся после кино по аллеям нашего колхозного парка.

Что бы они ни чувствовали, о чем бы ни заботились — нет в их жизни места самому страшному: отчаянию.

А у меня, как только я понял, как только почувствовал, что люблю, такая тяжесть на сердце легла, такая тоска, что мучает, и сосет, и уснуть не дает человеку.

Пришла осень. Тучи поползли из-за гор. Задождало. Халупа моя наполнилась гуденцем и свистом — в ней гулял ветер.

Горячая пора на поле прошла, и хозяин уже косо поглядывал на своих наймитов, точно выискивал повод прогнать кого-нибудь со двора.

С Марийкой мы виделись редко, но что это были за встречи! Стоим где-нибудь возле тына чуть ли не до полуночи, о чем только не переговорим! Будто раньше оба были немymi и теперь никак не натешимся.

Послушал бы кто со стороны, наверно показались бы ему наши разговоры никчемными. А мы без них и жить не могли. Казалось, не ел бы, не спал бы, только еще и еще говорил бы про нашу любовь — одно и то же каждый раз и каждый раз новое.

— Никогда не подумал бы, — повторял я, обнимая Марию, — что ты меня полюбишь... Сколько парубков на селе...

— А что мне парубки! По мне, пусть их и вовсе не было б, — говорила она. — Это ты меня, Таясий, не замечал. А я тебя уже давно люблю, очень давно.

Скажет она так, и сдастся мне, что нет на свете более богатого человека, чем я, раз у меня есть Мария, — потому что с нею невозможно быть ни бедным, ни обиженным.

Пока было тепло, мы встречались с ней в узком зеленом переулке, который вел к моей халупе. С двух сторон нас стеной ограждал плетень, над нами нависали ветви густых волошских орехов, листья акаций.

Случалось иногда, что Мария запаздывала. Я стоял, прислонившись к тыну, и прислушивался к каждому звуку, к малейшему шороху.

Стоило только зашепестеть траве под ее маленькой босой ногой, как я спешил ей навстречу и прижимал к себе, даже не спросив, почему она запоздала, ни словом не упрекнув ее.

Очень она любила меня и не боялась ничего: ни чорта, ни волка, ни людского толка. Потом похолодало. Мы уже не могли встречаться на воле. Заскочит, бывало, Мария в воскресенье в мой курень, расскажет про то, про се, засмеется задорно, с Семенком побалуется, думки мои невеликие развеет.

И хлопчик мой полюбил Марию. Посмотрю иногда, как он к ней прижимается, и думаю: «Плохо ребенку без матери, мать и приголубит и наставит».

Однако от мыслей своих не разбогател я ни на грош. И так и сяк раздумываю — ничего шутного не придумаю. Знаю только одно: не могу я жить без Марии. А где жить и чем кормиться — это мне неизвестно.

Вот и додумался я до того, что надо нам с Марийкой по разным стезжкам расходиться: мне жить, как жил, а ей, если выпадет случай, замуж выходить, только не за такого нищего, как я.

«Так и скажу ей», — решил я. И сам этой мысли своей не поверил.

Тут, в счастье, вернулся в село мой товарищ, Берник Пван, от которого я ничего не тайл, все ему доверял.

Был он гуцул, но еще дед его, спустившись с Карпат, поселился в долине и женился на нашей. Так эти Берники и стали местными.

Все же в Иване сразу можно было узнать туцула. Он и одевался по-гуцульски — как-то по-особенному, набекрень, носил свою зеленую шляпу с павлиньим пером — и песни пел не так, как наши поют. А что до плотов —

сбивать и гнать их, — то равного ему в этой работе среди нас не было.

Немало пихтовых, буковых и словых плотов перегнал он до самого Прута по нашему быстрому Черемошу. Но в последние годы строго стало на границе. А границей был как раз Черемош, который теперь разделяет Выжнецкий и Кутский районы, а тогда разделял Румынию и Польшу.

Для того чтобы пройти в горы, откуда лес сплавляют, надо было выправить легитимацию¹, заплатить за нее, сколько положено, да еще и добрый «бакшиш» пограничникам дать. А где бедный человек столько денег возьмет? Вот и занялся Берник водить плоты по Пруту.

Но сердце Ивана рвалось в горы, и временами пробирался он к своим лесорубам, чтоб узнать об их жизни и рассказать о своей. Были, конечно, и другие причины. Но об этом после.

Бедные люди любили Ивана. А кулакам-кровососам его язык и характер поперек горла стояли. Иван шапки первый же снимет да так посмотрит в глаза хоть и самому помещику, что тот весь затрясется от злости.

Говорили про Берника: упрямый, вброд не ходит, только вплавь.

Невысокий был, коренастый. Лицом красивый, нос горбиком, волосы черные и такие же усики. Девчата его любили, но он не женился, хотя и зарабатывал на сплаве много больше, чем я внаймах.

Еще парубком любил я прийти на вечерку вместе с Иваном.

Бывало, идем мы с ним, обнявшись, посреди улицы и поем во весь голос:

Ой, та два нас, легиныку²,
Два нас, та два нас,
Не ходим горы селом
Та не робим галас...³

В работе или в веселии на празднике — характер у нас с ним один, а как заведем разговор о жизни — мысли у нас разные. Не раз мы с Иваном спорили о том, как бедняку на свете жить. Бывало, иногда так с ним сцепимся, что после смотреть друг на друга не хочется.

Вы уже знаете, что был я парубок крепкий и ко всякому ремеслу способный. И верил в то, что каждый должен, как та ель, которая в густом лесу выросла, сам изо всех сил пробиваться к солнцу. Хватит сил — пробьешься, вдохнешь вольного ветра, налюбуйешься ясным днем. Не хватит — согнешься, скрючишься в буреломе, сгниешь в темноте, в дикой чаще, не видя божьего света.

Иван только смеялся над этими моими мыслями.

— Ну и разумный ты, — говорит, — себя с гнилой колодой равняешь. И мысли твои точнехонько такие, как у мыши, которая, дура, считает, что солонина в мышеловку для ее мышинного завтрака положена. И счастье, по твоему, та самая солонина. Положили ее перед тобой: найдешь, наймит, гни спину, может и разбогатеешь.

— А по-твоему, что же выходит? — спрашиваю. — Просто лезь с детства в петлю, так, что ли?

¹ Правовое свидетельство.

² Парень.

³ Шум, галдеж.

Он только рукой, бывало, махнет.

— Гуртом, — говорит, — надо к свету пробиваться...
Вон в России, на Большой Украине, во всем Советском Союзе, живут же люди по-человечески!

Я об этом уже и без него слышал, но, правду сказать, не очень прислушивался к таким разговорам, потому что за них сигуранца нашему брату ребра ломала.

Пока я собирался пойти к Ивану, он уже сам — тут как тут. Осмотрел мою «резиденцию», усмехнулся:

— Дворец!

Слово за слово, выложил я ему все, что было на душе. Много было щелей в стенах моей халупы, но и сквозь них не мог пробиться весь дым, который напустил из своей гуцульской носогрейки мой друг, раздумывая над тем, что мне посоветовать.

Долго молчал Иван, и я уже старался перевести разговор на другое: стал расспрашивать о том, как ездилось, почему задержался. Он рассказал, что сдружился с людьми, которые много знают о Советском Союзе, что за свои разговоры попал было в лапы сигуранцы, но удрал и домой сразу не вернулся, со следу сбивал. И, казалось, забыл Иван о моем деле.

Но он не забыл. Уже наклонился, чтобы выйти из халупы, и вдруг отступил на шаг, выпрямился и так, словно это им давно решено, сказал:

— Если любите, то сходитесь. Не такой ты молодой парубок, чтоб долго ждать... А свадьбу мы справим на славу. Хоть есть нечего, да жить весело! Не забывай, бери меня в сваты. Кого-кого, а нас с тобою старик Сорохан за дверь не выставит.

Я проводил его до перекрестка. Одна дорога, которая направо, вела к ивановой хате, другая — напрямик — ко двору Косована, а третья — назад — к моему куреню. Когда фигура Ивана скрылась в тумане и не стало слышно скрипа его сапог по кремнистой тропинке, я затоптал цыгарку и подался напрямик — к Марии.

Минут через десять я уже был у высокого забора, за которым, позвякивая цепью на проволоке, взад и вперед бегал хозяйский пес Гектор.

На улице никого не было, потому что сыпал мелкий дождик. Хозяева и работники, наверно, уже спали. Но мне так захотелось увидеть Марийку, что я не мог вернуться домой. Обошел я двор вдоль забора, чтобы не дразнить собаку, и уже хотел пробраться через тайный пролаз, как вдруг услышал приглушенный голос Косована. Я притаился за орехом и прислушался.

Самого хозяина я не видел, но каждое его слово было слышно, как на воде.

— Значит, такое твое последнее слово? — говорил он. — Хочешь, чтобы в «премиляр» отдал? Ну что ж, я тебе это устрою, не беспокойся.

«Премиляр» — у румын так допризывное обучение называлось. Много терпела наша молодежь от этого! Как восемнадцать лет исполнится хлопцу или дивчине, берут их на «премиляр». Для отвода глаз дадут в руку палочку и муштруют: «Ластинга! Ландрейта!» — только и делай, что поворачивайся налево и направо. А в армию в обоз брали: не верили, что наши украинцы в случае чего за румынских бояр свои головы подставят. Поэтому наших

ребят не столько учили, сколько заставляли в поместьях работать, дрова колоть, полы мыть — и все бесплатно. А чуть что не так — плеток от жандарма получишь.

Вот этим «премиляром» и угрожал кому-то Косован. Он вместе с местным жандармом верховодил в этом деле и ежегодно получал даровых наймитов.

Под орехом, откуда слышался разговор, вдруг что-то зашуршало, затопало.

— Не тронь, хозяин, глаза выцарапаю! — долетел до меня взволнованный девичий голос, и сердце у меня остановилось: марийкин! — Ишь ты, боров пузатый, мало тебе твоей индюшки, — громко сказала Марийка. — Не так легко... со мною...

Выврав доску из забора, я быстро очутился во дворе и, недолго думая, с доской — прямо на Косована. Он сразу отпустил Марийку. Не схвати меня Марийка во-время за руку, лежать бы нотариусу на кладбище, а мне кандалами дорогу мести.

— А-а! Спасите! — дико закричал Косован, отступая от меня.

На его крик выбежали наймиты, а через минуту на крыльцо вышла и сама Чапей.

Из открытых дверей во двор падал свет, и мы втроем стояли, как выведенные на позор перед людьми. Некоторое время все молчало, только псы, как бешеные, брехали и рвались на своих цепях.

— Вот... — глухо, как из-под земли, проговорил хозяин, отталкивая ногой доску. — Думал, что воры... А они... эти двос... по ночам шатаются... — И, криво усмехнувшись, добавил: — Байструков нажлвают.

Пилип смущенно кашлянул, Зоська, наймишка, прыгнула, но сразу умолкла. А Чапей, плотнее закутавшись в свой теплый капот, молитвенно сложила руки и прогнусавила:

— О-о... Доамне свинте! ¹

Я посмотрел на Марию. Она не плакала, губы ее были сжаты, а глаза полны гнева.

— Врать ты мастер, — тихо сказал я, глядя Косовану в глаза. — А о моих детях не беспокойся: не ты их будешь кормить... — И неожиданно для самого себя обратился ко всем: — И на Марию пусть клевету не наводит... Я к ней сватов засылаю.

Недаром говорят: если можно было бы прожить зиму котом, лето пастухом, а пасху попом, — то не очень журился бы, не имея хаты.

Прошла зима, а свадьбу еще не справляли, хотя Сорохан сватов принял хлебом-солью и мы с Марией были уже заручены. Она работала сейчас у Худика, а меня Косован не прогнал, потому что такими рабочими, как я, бросаться было невыгодно.

Почти все заработанные деньги я отдал помещику за долг, а весь запас харчей пошел на Семенка. Зимой он жил то у родителей покойной Стефки, то у моей старшей сестры, у которой и своих таких было семеро.

¹ Матерь Божия! (Румынск.)

К Сорохану в семью я пойти не мог, потому что в его хате, как соберутся все, человеку невозможно вокруг стола обойти. Да и не один я был, а с ребенком.

Хоть живым в землю ложись, надо ставить свою хату. К тому же Косован через своих подручных распустил слух, и попопали по селу сплетни, будто Мария от меня уже тяжела, а о свадьбе и речи нет.

Попадались и среди бедных людей такие, что залезут по шею в долги — и готовы родного брата продать, лишь бы перед кулаком как-нибудь выслужиться. То один криво усмехнется в мою сторону, то другой ужалит. Я огрызался. Да разве на всех собак натюкаешься!

Больше всех досаждала нам Винцучиха, Винцуся Зборовского жена.

Был тот Зборовский не богаче других людей в нашем селе, перебивался, как и я, на своих пяти сотках, но жизнь у него была, наверно, труднее, чем моя, потому что взял он себе не жену, а настоящего чорта: сварлива и ленива, всегда немыта, нечесана.

Была у них дочка, которая умела хорошо петь, она ходила, как и отец, всегда голодная и недосмотренная. На престольном празднике или на чьей-нибудь свадьбе (а Винцучиха ни одной не пропустит) клятая баба, напившись на даровщину водки, силой заставляла свою Доринку петь и плясать.

Так вот, эта Винцучиха досаждала нам на каждом шагу. Идет из корчмы подвыпивши и каждому встречному болтает, что гуляла у нас на свадьбе. Ну, люди, конечно, смеются, знают, что той свадьбы не было и неизвестно, когда она будет (бедность моя была у всех на виду).

Однажды встретил меня Худик, новый хозяин Марийки. Остановил коня и позвал к себе. Подошел я. Был он человек практичный, зря слова изо рта не выпустит. Начал сразу о деле. Так и так, дескать, оба вы с Марийкой работаете, тебя я, мол, никогда пьяным не видел (а он при любом случае втолковывал людям, что они бедны потому, что водку пьют), — могу вам кое-что одолжить, чтобы вы себе хату поставили.

— А отдавать когда и в каком проценте? — спрашиваю. Знал я, что Худик был отъявленный лихоимец, не лучше Косована.

— Отдашь, — говорит, — хоть через год. А процентов никаких — лея за лею.

У меня глаза на лоб полезли от удивления. То ли, думаю, свет вверх ногами перевернулся, то ли Худик лишнюю чарку опрокинул. Стою — не знаю, что ему и ответить. Еще бы: такое счастье с неба свалилось!

А он и глазом не моргнул, словно ему не впервой соседа из беды выручать.

— Сделаешь мне, — говорит, — за это одну услугу; соберешь ватагу добрых хлопцев — а девчата пристанут, бери и девчат — и айда на линию лес грузить. И деньги на хату от меня получишь и кое-что заработаешь, чтобы долг отдать. Идет?

«Как же так? — думаю. — Ведь лес, сколько я себя помню, всегда грузили выжиновские люди. У них пахотной земли — кот наплакал, единственный заработок — желез-

ная дорога. Что ж там у них случилось, если в Черногузах подмоги просят?»

— О других не беспокойся, — улыбнулся Худик, будто мысли мои прочитал. — Своя рубаха к телу ближе. Сделаешь, как я говорю, — будет у тебя своя хата. Тебя хлопцы послушают, я знаю. — Вынул он из кошелька столей и подает мне: — Думай, парень.

— Добре, — говорю, — подумаю.

И с деньгами в горсти быстренько домой. Обернулся во дворе по хозяйским делам и опрометью к Бернику.

Прибежал к нему, а он сидит, книжку читает.

— Вот, — говорит, — Танасий, писал человек: каждое слово до сердца доходит. — П подает мне «Кобзаря» Шевченко.

— Тут, — говорю, — братец, не до книжек.

И выложил я ему все, как было. Мол, судьба моя в твоих руках, тебе на сплав идти еще рано; а за неделю и мне поможешь и сам заработаешь.

Выслушал меня Иван, нахмурился. Вижу, не будет на это его согласия. Он молчит, а у меня в сердце досада на него. Вот, думаю, какой из него товарищ. Ему, неженатому, бездетному, и горя мало. К тому же, какая ни есть хата, а все-таки под крышей живет.

— Ну и не надо, — шурбормотал я и берусь за щеколду. — Кого-нибудь другого попросим.

Тут он как вскинется, как вскочит со скамьи да как тряхнет меня за плечи.

— А ну, садись!

Сел я, в глаза ему не гляжу, одну цыгарку на пол бросил, другую сворачиваю. Помолчали. Я сижу на лавке, а он шагает по хате взад-вперед.

— Значит, кулаку поверил? — спрашивает накопец. — На его доброе сердце надеешься?

— А какая ж тут неправда, — говорю, — если и деньги уже в кармане?

— Дурак ты, дурак, — махнул рукой Иван. — Знаешь ты, что лес грузят для фирмы пана Гелки?

— Ну, знаю.

— А о том, что к этой фирме и наш Худик причастен, знаешь?

— И об этом слыхивал, — говорю.

— А о том, что выжиновским людям эта фирма вдвое меньше платить хочет и они вчера забастовку устроили, не слыхал? Так, может, ты хочешь из-за своей шкуры людям поперек дороги встать, а Гелку и Худика спасти? У выжиновцев пусть дети с голоду пухнут, так, что ли?

Без огня выварил меня Берник теми словами. Вот оно какое дело! У меня вся кровь к лицу прилила, как подумал я, на какое черное дело чуть было согласен не дал. Обожгли меня те деньги проклятые, будто в карман кто-то горячих углей насыпал. Вскочил я со скамьи — и к двери.

— Куда? — спросил Берник.

Я его руку отвел:

— Отдам деньги, тогда поговорим.

Обнял меня Иван, а у меня в горле защекотало. Благодарит, точно я и в самом деле бог весть что для него сделал.

— Так я и думал, — говорит. — Знал, что ты за кулацкую копейку дружбу не продашь...

«И что это за человек, — думаю, — который общее дело так близко к сердцу принимает?»

Я идти хочу, а он меня из хаты не выпускает.

— Знаешь что, Танасий? — говорит, а у самого глаза блестят: — Будет у тебя хата!

Так обрадовался, чуть не танцует. А что придумал, не говорит сразу.

— Пойдем вместе, по дороге расскажу, каким манером мы тебе хату поставим. А деньги Худику, как собаке, кинем.

ПРОВОЖАЛА МАТЬ ДОЧЕНЬКУ ПРОТИВ НОЧИ...

Опасное было предложение Ивана. Но и доля моя тоже была крутая и немилая, а на тугое дерево — тугой клин.

Решил я до поры до времени скрыть от Марийки наше намерение. Что ни говорите, а даже у самой хорошей женщины язык не всегда советуется с умом.

Но пришлось все же открыться. Не хотел я Семенка опять к родичам отдавать. Пусть, думаю, лучше Марийка присмотрит.

План у Берника был такой: пробраться без всякой легитимации в горы, купить у знакомых гуцулов по дешевой цене лес на корню и ночью провести плот до панских лугов. Там припрятать его в камышах, постепенно перетаскать в село и поставить хату.

Не простое было дело. Даже одному человеку пробраться в горы мимо пограничников не легко, а двум еще труднее.

А как ночью по кипящему Черемошу плот гнать? Каждый камень подводный надо обойти и голоса не подать, чтоб румынские овчарки не услышали. Несколько раз спрашивал я Ивана, не отказаться ли нам от этого опасного дела. Но мой товарищ твердо стоял на своем.

В субботу я сказал хозяину, что на день-другой должен отлучиться в Выжиновку. В тот же вечер я зашел к Бернику, чтоб окончательно условиться обо всем. Выйти мы должны были в воскресенье до рассвета.

Только успел я переступить порог и оглядеться, нет ли кого постороннего, как в окно тихо постучали.

В хату вошла Мария.

Она плотно прикрыла за собой дверь, положила руку мне на плечо и, глядя в глаза Ивану, тихо, но твердо сказала:

— Я тоже пойду с вами.

Иван покачал головой:

— Все-таки проговорился?

А я, вместо того чтоб выругать ее за такие глупости, только спросил:

— А как же Семенко?

Оказывается, Марья сказала своим, что тоже идет в Выжиновку со мной, а мальчика отвела к своему отцу, он уже там и спит на лежанке.

— Без третьего трудно будет, — обращаясь только к Ивану, сказала Мария. — Вот увидите, я вам пригожусь. Я не боюсь.

Иван улыбнулся мне:

— Молодец! Добрая жинка у тебя будет!

Пустились мы в путь каждый из своей хаты, а сошлись у самого предгорья, за выжиновской мельницей. Шли молча, вот только галька под сапогами поскрипывала. Пришлось разуться и идти по берегу босиком, а ночи стояли холодные, и ноги стыли на утренней росе.

Темнота уже расступалась, но еще не рассвело. В предгорье мы шли, опережая друг друга, иногда меняясь местами. Но когда подошли к Карпатам, Берник вышел вперед и повел нас.

Чтобы обойти пограничные посты, мы сделали большой крюк и удалились от Черемоша. Теперь же опять постепенно приближались к нему.

Иван вел нас не быстро, осторожно ступал по камням. Подъем был очень крут. На дороге, кроме нас, не было ни души.

На перевале Иван остановился.

— Отдохните немного, — сказал он и присел на камень у дороги.

Справа, на склоне горы, стоял лес.

Над нами густо нависли ветки, не видно было неба. Впереди высилась острая скала, дорога здесь круто поворачивала вправо. Слева, за колючим кустарником, чернела глубокая пропасть.

Отдохнув несколько минут, мы двинулись направо.

Теперь мы совсем не видели Ивана, только слышали его осторожные шаги.

Может, и не так долго вел он нас тем лесом, но когда не видишь перед собой дороги, кажется, что никогда не дойдешь до цели.

Посветлело, и мы с Марийкой шагах в сорока впереди увидели Ивана. Он стоял лицом к солнцу, раздвинув руками серебристо-зеленые ветви молодых елей. За нами в лесу стояла ночная тень, а впереди был день. Мы так обрадовались, что побежали к Ивану, спотыкаясь об узловатые корни, не замечая, как колючие ветки хлещут нас по рукам и по лицу. Я раздвинул кусты и невольно отшатнулся: под ногами была пропасть, а перед глазами...

Никогда я не был так высоко в горах. Сердце мое жалось: вот они, родные Карпаты! Спнеют вдалеке их вершины, свисают над обрывами скалы.

А внизу, на дне пропасти, извивается узенькая ленточка, бежит по гальке, по зеленым кручам, по каменным валунам Черемош!

— Ну, Танасий, — впервые за все путешествие громко сказал Берник, — если вершишь в бога, молись, а лучше всего на меня положишь.

Не успел я ответить ему, как он нырнул в молодую поросль, что цепко впиалась в край ущелья. Марийка отшатнулась и вскрикнула. Я посмотрел вниз и увидел, что Иван стоит на небольшом выступе перед мостом через пропасть.

Я сказал «мост». А какой это был мост? Просто сваленная бурей огромная ель, от вершины до корня, как чешуей, покрытая зеленым мохом.

Косматыми, свернувшимися в жгут корнями она держалась за этот край пропасти, а до другого едва-едва достигала своей поржавевшей, наполовину осыпавшейся верхушкой. Казалось, что эта верхушка не выдержит тяжести человека.

— Не бойся, — поняв, о чем я думаю, улыбнулся Иван. — На хозяйских харчах ты не очень разжирел. Выдержит.

И он ступил на скользкий, покрытый зеленой порослью мост. Он шел быстро и легко, глядя прямо перед собой. Правая рука его лежала на бедре, а мешочек с хлебом и табаком покачивался у пояса на левом боку.

Мы забыли, что и нам придется сейчас ступить на этот мостик, и любовались Иваном, который смело приближался к противоположному краю.

Не дойдя до того места, где ствол ели разветвлялся и становился тоньше, Берник быстро присел и прыгнул на край скалы. Из-под ног посыпалась глина, сорвалось несколько камешков, а он выпрямился, поправил на плече мешочек и весело крикнул:

— Вот я и в Польше, прошё пане!

Потом переходила Марийка. Ступив на ель, она покачнулась и поблуднела. Я невольно подался вперед и протянул ей руку, но Иван с противоположной стороны погрозил мне кулаком. Марийка пошла.

Мне казалось, что она все время клонится на правую сторону, я хотел ей об этом сказать, но Берник будто догадался и опять погрозил мне кулаком.

На середине моста Марийка остановилась. Сделала еще шаг. Ель чуть заметно согнулась под ней, я ясно увидел это по тому, как сухие ветви, касавшиеся противоположного края, царапнули глину и подняли тучку рыжей пыли.

Берник зажал в зубах набитую трубку и взял в руки спички. Он чиркнул раз — спичка сломалась. Он попробовал вторую и опять не прикурил. Я понял, что он тоже воляется: спички у нас были большой роскошью, и мы не привыкли тратить их зря.

А Марийка, остановившись, посмотрела под ноги. Я похолодел, мне казалось, что она смотрит слишком долго и не может оторвать глаз от пропасти. На самом деле прошло какое-то мгновение, и Марийка снова пошла, теперь уже быстро, высоко держа голову. Она дошла до конца и крепко схватилась за протянутую Иваном руку. Ель подогнулась под ней, но как только освободилась от тяжести, выпрямилась.

После Марийки я перешел на ту сторону быстро, без малейшего страха. Мы опять шли лесом, но уже более редким и не еловым, а смешанным. То тут, то там зеленела молодая ольха, береза, между пихтами и елями все чаще попадались буки и грабы; на полянках стояли липы, обещающая пчелам много душистого цвета; всюду журчала вода, пробиваясь с гор, а в чаще, где было темно и холодно, еще падала снег, слышался голос кукушки.

Самая лучшая пора в наших горах — лето. Приходит май, и горы начинают гудеть, шуметь веселым шумом. Летом там и людей меньше умирало. Месяцами, бывало, нет ни одного покойника. А осенью не то — смерть в гуцульском царстве, бывало, расходится всюю, косит людей, как косарь траву.

И неудивительно. В тот раз я впервые увидел, как жьля гуцулы. Мы — бедно, а они еще беднее.

К полудню мы пришли на место. Знакомый Ивану гуцул встретил нас молчаливо, даже неприветливо. Но Иван успокоил нас, объяснил, что такая уж здесь у людей при-

вычка — словами не разбрасываться: жизнь у них в горах дикая и молчаливая — один от другого, бывает, за десять километров живет.

За лес гуцул взял с нас недорого. А по сравнению с той ценой, какую брали пан Гелка или Худик, так совсем почти даром отдал.

Иван сказал, что от нас гуцул получит больше, чем от Гелки; тот забирал у гуцулов лес за бесценок, зная, что им со своим добром через границу податься невозможно. А Гелке польские богатеи без пошлины через границу лес переправлять помогали.

Ну и хитрые ж были те паны, не смотрели, кто поляк, кто румын, когда дело шло о прибылях.

Гуцул и его три сына отобрали сухой лес, еще в прошлом году приготовленный для продажи. Нам до вечера пришлось просидеть в хате. День был воскресный, и вокруг ничего не было видно, но мы не имели легитимаций, и гуцул боялся за нас и за себя.

Хозяин привел нас в свою низенькую, закопченную, темную хатку. Она прилежалась к скале и окном выходила на другую, замшелую скалу.

Как только мы переступили порог, девушка, стоявшая у печи, выпустила из рук ухват и вскрикнула:

— Иван!

Но гуцул строго посмотрел на нее, и она, склонив голову, осталась на месте, однако за работу не бралась.

Только гуцул вышел из хаты, как Иван подошел к девушке, обнял за плечи, поцеловал в щечку и обратился к нам:

— Теперь уж нечего скрывать: вот она, моя Текля!

Молодая гуцулка, вспыхнув, освободилась из его объятий и, подозрительно глядя на нас, спросила:

— Это твои родные? Они из долины?

— Это мой товарищ, он для меня все равно что брат, — объяснил Берник. — Я тебе уже говорил про Танаasia. А это — Марья, его невеста. Я даже им о тебе ничего не сказал. Но так случилось — сами увидели.

— Так это для них тато лес готовит? — спросила Текля уже более приветливо.

— Хату им поставить нужно, чтоб подешевле. Они ведь такие же паны, как и мы с тобой.

Над нами что-то задвигалось, закричело, и с печи свесилась лохматая, давно не чесанная голова старото-престарого деда. От подбородка почти до груди свисал у него уродливый зоб, или, по-нашему, «воло».

— Наверно, пить захотели, — сказала Текля и, встав на скамью, наполнила деда прямо из ведра.

Старик напился и обвел хату воспаленными от постоянного дыма глазами. Мне показалось, что, заметив Берника, он улыбнулся.

Иван подошел к старому гуцулу и громко поздоровался:

— Здоровеньки булы, дед Лукьян! Як ся маєте? ¹

— Живу, — выдавил из себя старик. — Молодое — золотое, а старое — гнилое... Не дает пан бог смерти.

— Девяносто лет, — сказал мне Берник. — Сейчас уже совсем ослабел, а еще в прошлом году много мне рас-

¹ Как поживаете?

сказывал. Его отец — мой Текле прадед — немало насолил панам, не одного спалил, самого Кобылицы товарищем был, в честь его и сына Лукьяном назвал.

Услыхав имя буковинского народного вожака, старик поднял голову, и глаза его засверкали.

— Кобылица... Ого! Дрожали паны... Палками их... ботьями... и смолой горячей... На Гледовой горе... Ого — бывало...

— Чи правда то, дед, — спросил Берник, — что когда прятали наши люди Кобылицу от жолнеров, то ни один не выдал, хотя и катовали их люто?

— Бито было, бито... И тата моего бито... Под ботьями¹ померли... Сто ботьев! Сто!

Старик совсем обессилел, умолк, и голова его упала на кучу овечьих шкур и тряпья.

— Слышал, Таясий? — сказал Берник. — Еще наши деды за волю боролись.

— А все-таки ничего не выбороли, — ответил я. — То ли в камень головою, то ли камнем по голове — разве не одно и то же?

— Как это не выбороли?! — накинулся на меня Иван. — Жизнь свою отдали — это верно. Но с доброго юзя и упасть не жаль. Не склонялись перед панами, как ни было трудно, стояли прямо. Так и нам тужно... Не смотри, что тут люди молчаливые. Зато памятливые. Приглядь-голову здесь не найдешь, скорее — пробей-голову... А что? — повернулся он неожиданно к Текле. — Возьму тебя на плот сегодня, чтоб никто не видел, — и по Черемошу на равнину, ко мне. Дашь на то согласие?

Текля вздохнула и покачала головой.

— Отец ругать будет. За это его и в тюрьму посадить могут. Скажут: куда делась? Может, убил? Легитимацию надо... И ксендз ваш, или как он у вас там называется, не обвенчает: у тебя Румыния, а у меня тут Польша.

— Из меня такой румын, как из тебя полячка. — Иван ударил кулаком по лавке. — Проклятые законы! Поставили пограничников, сделали из нас чужестранцев... Ну ничего, Текля, будет и у нас праздник. Только ты жди меня.

— Я буду ждать, — со спокойной твердостью сказала гуцулка. И, словно боясь, что он не расслышал, приблизилась к нему и взяла за руку: — Как бога кохам, Иван... Хоть всю жизнь...

Уже совсем стемнело, когда гуцул вошел в хату и сказал, что мы можем двигаться. Он уже сбил лес в тугой плот.

Не могу передать вам, что я почувствовал, когда ступил на этот плот, сбитый из словых, пихтовых и липовых стволов. Я мог руками потрогать каждый кругляк. Были тут и толстые колоды, сантиметров по сорок толщиной, на венцы и на столбы, и потоньше — на крышу, на дранку. Ну, словом, целая хата, первая на моем веку собственная хата!

Однако сейчас это был только плот, а не хата, и радоваться было рано.

Надвигалась ночь. Черемош, как сытый зверь, едва слышно урчал под нами, а из долины доносился его глу-

хой, сердитый рев. Иван первый ступил на плот. Он осматрел и пощупал связки и стояк для кормила, а потом и само кормило. Наклонился, еще раз проверил, хорошо ли сколочено, и лишь тогда подал нам знак.

Вслед за мной на плот ступила Марийка.

Иван перегнулся и протянул отцу Текли висет с табаком. Тот взял щепотку в горсть, набил трубку, потом, оттолкнув плотик от берега, высек огонь и, выпустив кольцо дыма, молча кивнул нам: мол, с богом!

Текля стояла на холме в отдалении. Она даже не махнула рукой, только долго смотрела нам вслед. Берник отвернулся, — я никогда не видел его таким грустным. Сначала медленно, а потом все быстрее шли мы вниз и вниз по течению, то обходя подводные камни, то круто поворачивая за скалы, неожиданно выраставшие перед нами.

Марийка стояла у кормового, малого руля, а мы с Иваном держали большое кормило.

— Смотри, — предупредил Иван, — только вместе со мной бери, сам не нажимай. Надо следить, чтобы не больше половины доски было в воде, потому что здесь мелко. Зацепит за камень — может грудь пробить.

Черемош становился все более извилистым, а глубина его то и дело менялась.

— Хотя бы месяц не прятался, — сказала Марийка.

— И в темноте плохо, и при свете не лучше, — не оглядываясь, промолвил Иван. — Того и жди, что засветит.

От напряжения руки у меня совсем занемели, заболела поясница. Месяц скрылся за тучу, и мы шли наощупь. Где-то впереди Черемош ревел все злее, холодные брызги летели в лицо.

Мы шли уже часа два и ни разу не смогли хоть на минутку оторвать руки от кормила, а глаза от воды.

Все же, как мы ни были внимательны, опасность подстерегала нас. За крутым поворотом, каких и до того было множество, река с грохотом спадала по огромным острым валунам и опять сворачивала за скалы. Наш плотик должен был все время менять направление. То и дело слышал я команду Ивана:

— Берегись!.. Держи к правому берегу... К левому... опять к правому...

Мелкая, но бешено быстрая вода относил нас к правому, румынскому берегу, спасая от левобережных острых валунов, торчавших из воды темными шпильями.

Мы шли уже почти у самого берега, когда вдруг что-то вспыхнуло, слепящий луч заметался на волнах, нащупывая нас, и совсем близко, над самым ухом, мы ясно слышали ненавистное:

— Стай! Ая си траг!¹

Я похолодел. Не угроза разбиться о камни, не тюрьма, не дубинки жандармов — не об этом подумал я, а только об одном: хата! Пропала хата!

Наверно, об этом же подумала и Мария, потому что, присев на плоту, обхватила руками мокрые, покрытые пеной бревна, словно говорила: «Не отдам! Не отдам, хоть убейте!»

¹ Под палками.

¹ Стой! Стрелять буду! (Румынск.)

Пограничники уже видели нас, лучи их фонарей скрестились и неотступно бежали за нами. Залаляли овчарки. Ударил выстрел.

— К левому! — коротко приказал Берник.

П тогда прозвучал второй выстрел. Пуля просвистела над моей головой, пробив шапку.

Кормила я не бросил, но, наклонившись, нажал на него всем телом, и оно, мгновенно выброшенное назад упрямым каменным дном, едва не ударило меня в грудь. Не знаю, как я успел отклониться в сторону. Удар пришелся мне в плечо, и я упал, свалив Ивана.

Плот рванулся, как дикий конь, который скинул всадника и, почувствовав волю, мчится без оглядки.

Оглушенный ударом, я некоторое время лежал без сознания. А когда раскрыл глаза, то увидел Марию, которая изо всех сил налегала на переднее кормило. Иван стоял уже рядом с ней.

Я снова закрыл глаза. Не только плечо, но и голова у меня болела, перед глазами плыли туманные круги...

Уже не видно было страшных лучей, не слышно было ни свистков, ни выстрелов. Пограничники отстали от нас, а может, просто махнули рукой на сумасшедших, которые темной ночью гонят плот по таким опасным местам.

Течение здесь быстрое, но Черемош уже не так извилист. С обеих сторон обступает его темный лес.

И тут сквозь шум воды я услышал голос Марип:

Виряжала мати доню против ноці
Та й дала їй соловія до помочі:
Буде рано соловіяко щебетати,
Буде рано мою доню пробуждати...

НОВАЯ ХАТА

Если вы, товарищ, ходили в нашу колхозную читальню, то непременно должны были пройти по улице имени товарища Гната Крикльвица. Самая широкая, обсаженная с обеих сторон липами, мощеная, с тротуарчиками.

До войны на том месте был кривой переулок с убогими халупами, но и их occupants сожгли.

Об этой новой улице, на которой сейчас двадцать три просторных светлых дома поставлены, уже и в районной газете писали и на активе говорили.

Сказать правду, хвалили нас по заслугам — много мы усилий приложили к этому строительству. Но если разобратся, то удивительного в этом достижении, ей-богу, ничего нет. Государство дало людям в собственность лес; привезли его люди на колхозных конях в свое село и поставили для себя же дома. И за это еще — уважение от государства!

А в то время, о котором я вам рассказываю, были у человека только собственные руки да добрый товарищ, который помог в беде.

Еще и дымки над нашим селом не зарозовели, как мы все трое сидели на прибрежном лужке, отдыхая после трудной дороги, а моя будущая хата лежала в густых камышах.

До села было километра четыре, и я уже беспокоился, как бы поудобнее да побыстрее доставить мои бесценные бревнышки на место и начинать строить.

«Наверно, придется запрягать Метелка», — подумал я о своем жеребчике, который у меня до сих пор еще не работал.

Домой возвращался не торопясь, на всякий случай опять не напрямк, а через Выжиновку. У железнодорожной линии мы увидели толпу рабочих. На пустых платформах, на штабелях, на всем, где только можно было поставить ногу, стояли люди, слышны были громкие голоса.

Иван догадался, что это значит.

— Видишь, — сказал он, — выиграли забастовку... Показали Гелке, почему фунт лиха.

Перед людьми стоял Худик с шапкой в руках и, вытирая платком шишкастую лысину, что-то говорил.

— Правильно, — заметил Иван, — перед народом держи шапку в руке, пока голова на плечах цела.

— Так вот, — надрылся Худик, — не подумайте своими дурными головами, что пан Гелка или я, упаси бог, испугались вас. У нас с паном Гелкой, слава тебе господи, есть еще на вашего брата управа, так что не думайте...

— Не учи нас, что думать, — отозвался молодой парень в домотканых узких штанах, — нам деньги плати, сколько следует!

— Верно! Правильно! — закричали в толпе. — Давай, сколько положено.

— Деньги мы уплатим. Как платили вчера, так и сегодня... Но не подумайте, свиньи...

— Сам свинья! — крикнул Иван сзади. — Ишь, какой жирный! Отъелся на чужом.

В толпе засмеялись. Худик покраснел, хотел что-то ответить, но ничего не придумал умнее, как только крикнуть:

— По жандармам соскучились?!

Я скрылся за высоким штабелем, чтобы Худик не заметил меня: за хату свою боялся. Тут я увидел трех верховых лошадей, а возле них самого Гелку и какого-то незнакомого пана.

— Слышите, что делается? — сказал Гелка по-румынски. — Это все от т у д а идет, — и махнул рукой в ту сторону, откуда входило солнце.

— Да, да, — согласился с ним собеседник. — Это всё — русские.

Гелка неожиданно рассердился.

— «Русские», «русские»! А здешние разве лучше? Наши мужики тоже... в случае чего... Но началось там — это истинная правда... И чорт его знает, чем это кончится.

После этого паны сели на коней и, не оглядываясь, поехали в городок. Худик тоже пошел к своей бричке, и люди понемногу стали расходиться по местам.

Но тут неожиданно на высоком штабеле показался Иван. Он успел переодеться, вынув из торбы ярко вышитую туцупльскую сорочку, которую всегда надевал, когда гнал по весне первые плоты. В толпе пронеслось:

— Берник!

Почти все, кто отошел, вернулось. Видно, Ивана тут не только хорошо знали, но и уважали.

— А что, приперли мы их? — заорно спросил Берник и, сбросив шапку, обратился ко всем:

— Ну, помогай боже!